

Анатолий КИМ  
**ОСТРОВ ИОНЫ**

(фрагмент)

**Часть 3**

Трое шли по неведомым пустошам заболоченных низин, поросших чахлым ельником, который, казалось, уходил корнями не в сырую черную, сочащуюся водой землю, а в серовато-розовое вещество писательского головного мозга, из которого и возникали взлохмаченные, словно в рубище, мелкие нестройные елки; и в невесомости витали всклокоченные облачка туманов, как востекание к небу самых грустных человеческих настроений. Он давно уже смертельно устал от неизвестности; где, по каким пустошам каких миров ходят проведенные через его головное серо-розовое вещество герои сочиненных им книг? И хотя он ясно видел, как ноги его, обутые в резиновые сапоги, вязнут в черной, как деготь, земляной жиже и как точно так же купается в болотной грязи и другая пара резиновых сапог, тех, что невероятным образом оказались на ногах румынского государя из позапрошлого века, – писатель взирал на ходу, по мере движения через заболоченную низину, на всё это рассеянно, с недоумением, с опустошительной печалью сердца и не понимал, где его подлинное, не воображенное, место в этом вдруг раскрывшемся для него **КВАНТОВОМ** мирке Вселенной.

Самым достоверным и неоспоримым знанием о себе явилось для него постоянно настигающее и затем отскакивающее куда-то в невидимую гиль понятие смерти, глубоко интимное, неразделимое и такое же ответственное, как понятие Бог. Этот человек уже перестал понимать, живет он еще на свете или нет, верит ли в Бога или не верит, а может быть, совсем незаметно для себя он давно умер, и потому всё окружающее видится ему таким далеким и болезненно чуждым. Существа же недействительные, такие как мифический румынский принц из позапрошлого века или новый спутник в фетровой шляпе, ведущий его в страну прокаженных, – вот они, рядом, и он видит, как резиновые сапоги на ногах принца Догешти бултыхаются в черной жиже заболоченной низины.

Оказалось, что по ней проходит едва заметная пешеходная тропа, такая же внезапная и загадочная, как и седой старый вожатый, Василий Васильевич Жерехов, который рассказал путникам, что они попали на пешеходную тропу, единственную дорогу, которая связывает лепрозорий, маленькую страну прокаженных, с внешним миром. Километрах в двух сзади, при выходе тропы к большой сибирской реке, находится обслуживаемый государственной вооруженной охраной контрольно-пропускной пункт, откуда и начинается для пациентов лечебницы последний односторонний путь, исход из всеобщей людской жизни в особую зону лепроидного инобытия...

Вожатый привел путешественников в небольшой, но широко разбросанный по уютной долине, меж двух гор, лепрозорийный поселок, затерянный – в пространстве и времени дикой тайги – от всего остального мира землян. Этот уголок человечества располагался внутри общего, но въяве существовал невидимо, словно колония инопланетных пришельцев с неземными свойствами. Писатель сразу же стал об этом догадываться, когда перед его глазами начали возникать – а некоторые так сразу же и исчезать, словно

пульсирующие изображения в телевизоре, – длинные одноэтажные дома поселка, прямоугольным каре окружающие высокое центральное здание. Те, что исчезали после возникновения, могли показаться вновь несколько секунд спустя, – но или в другом построечном облики, или попросту в прежнем виде, однако покрашенные в иной цвет. Центральный дом, в стиле швейцарского шале с высокой, на несколько уровней, двускатной крышей, в течение минуты исчезал и появлялся трижды: вначале темно-шоколадный, затем серый с оранжевыми ставнями, а уже напоследок – салатно-зеленый, ставни же оказались белыми. Туда, к этому «швейцарскому горному дому», и повел седовласый вожатый своих новых знакомых. И он представил им следующие сведения.

Прокаженные на земле с древних времен человечества были отдельным народом, они уходили от своего прежнего племени, нации, государства и оказывались в какой-нибудь из замкнутых обителей, которых было разбросано по всем странам неучетно сколько и не всегда известно – где. Потому что многие из этих лагерей прокаженных становились вдруг совершенно невидимыми для остальных людей – существовавшая колония однажды вдруг исчезала, словно её никогда и не было на этом месте, и все её обитатели также исчезали, мгновенно переходя на какой-нибудь уровень тонкого мира. Колония, в которой оказались А. Ким и принц Догешти, была еще промежуточной, в своем развитии подошла к самому началу исчезновения из мира видимых вещей. Состояние это было пока неустойчивым, и в отдельных своих частях убежище то исчезало, то вновь тут же возникало со всеми своими строениями, оборудованием и людьми в них.

Основателем данной колонии был дед Василия Васильевича Жерехова, пригласившего гостей в этот полупризрачный поселок особенных жителей земли. Дед Жерехов, кстати, тоже Василий Васильевич, успел исчезнуть еще в прошлом веке, но сила его влияния была еще не настолько большой, чтобы распространить возможность физического исчезновения и на других своих подопечных, и на весь маленький град прокаженных, и эту возможность зарабатывали последующие поколения Жереховых, все Василии Васильевичи. Нынешнему, очевидно, дано было завершить эзотерическое дело этой колонии.

Когда он ввел спутников в центральный дом с высоченной, на три уровня, мансардой под крутой двускатной крышей, в широком помещении первого, наземного, этажа стали попадаться навстречу люди в белых балахонах, и все они ласково здоровались со стариком одинаковыми словами приветствия: «Здравствуй, бачка, миленький Василь Васильич!» А он так же приветливо отвечал им: «Здорово, ребята, здравствуйте, девочки!» И вдруг опять наступило, должно быть, некое промежуточное состояние – всё вокруг исчезло. Догешти и писатель вновь остались одни возле старика, растерянно озираясь, а он только улыбнулся им – поджатыми губами, чуть сузившимися глазами – и молвил:

– Ничего, товарищи, немного подождем. Вы их снова всех увидите.

...Когда и на самом деле минут через пять необычайно томительного и непонятого ожидания, во время которого все трое почему-то старались не глядеть друг на друга, потихоньку отворачивались в разные стороны; когда вдруг окружающий воздух словно начал густеть, становиться матовым, терять прозрачность, а потом в одно мгновение вновь все предметы и люди убежища материализовались в прежнем виде, этажи здания взгромоздились друг на друга, больные задвигались вокруг, и трое пришедших вновь

оказались внутри «швейцарского горного дома», – тогда и воскликнул писатель А. Ким, не могущий больше молчать:

– Я должен бы отдавать себе отчет, что всё это происходит во мне, в моей убогой маленькой головенке, которая размером чуть побольше, чем у муравья. Но что я должен думать насчет того, что вот стою перед вами, и разговариваю с вами, и дивлюсь на это фантастическое «промежуточное состояние», в котором предметы видимого мира то исчезают в пустоте, то снова вываливаются оттуда? Кто кого породил, Василий Васильевич, – вы меня или я вас всех с вашими исчезающими домиками и людьми в белых балахонах?

– А представьте себе, мой дорогой друг, что ни вы меня не придумали, ни я вас не породил силой своего воображения, – отвечал, усмехаясь, как всегда, одним изгибом узких губ и чуть заметным сужением глаз, Василий Васильевич. – Представьте, что всякое воображаемое существует, и тут ваша голова ни при чем – она лишь озвучила словами то, что существует само по себе. Так что не волнуйтесь особенно, вы ни в чем не повинны, и вам ничто не грозит. А мы с вами, кстати, уже встречались – в вашем совсем еще недавнем прошлом.

– Когда? Каким образом, Василий Васильевич?

– А в одном вашем киносценарии, потом ставшем кинофильмом, я говорил вам как раз об этом. О самой главной странности этого мира, в котором мы с вами пребываем. О том, что он есть вроде бы – и вместе с тем его вовсе нет. Вспомнили?

– Да, но вы там у меня были сельским учителем, Василий Васильевич. Старым сельским учителем. А теперь... вы не тот.

– Что же вас смущает? Не тот. Пусть. Но так и должно быть. Ведь там, в кинофильме, я ведь умер, кажется? Упал на землю и умер, выйдя из леса на поляну. Грибы из корзины рассыпались по траве...

– Так оно и было... И разговор этот происходил после. Я имею в виду разговор о том, что мир этот, в котором мы с вами пребываем, существует самым убедительным образом, в то же время его как бы и нет. Но разговаривали вы не со мною, Василий Васильевич. Вы разговаривали с человеком, героем фильма, во время его сна, он уснул, сидя в кресле возле гроба, в котором вы покоились... Это был персонаж из моего сценария.

– Вы ничего не поняли, хотя сами и написали те знаменательные слова в киносценарии. Не поняли того, что не было отдельно вас и вашего выдуманного персонажа. Вы были одно целое, вот как и мы с вами сейчас. И если вы хотите утверждать, что меня нет, вы тем самым невольно утверждаете, что и вас самих нет.

– Но ведь, наверное, так оно и есть, – смущенно отвечал писатель. – Я совсем не уверен, что аз есмь... Скорее всего, существует некто, о котором могу сказать только одно – что он никакой...

– Да ведь и весь мир, дружок, никакой! – оживленно воскликнул Василий Васильевич, подходя близко к Догешти и бережным, ласкающим движением прикасаясь к его плечу. – Объясните, пожалуйста, вашему спутнику, что в нашем мире, состоящем из нематериальных слов, всё действительное будет только таким, каким выстроят эти самые слова. И чем совершеннее окажется их гармонический строй, тем данный мир будет прекрасней.

Принц Догешти с благодарностью за внимание отвесил церемонный поклон старику и с улыбкой на своем сияющем чернобровом лице ответил:

– Давно я уже чувствую, как господину писателю затруднительно признать одно обстоятельство. Что человек, воображающий нечто совершенно

СВОБОДНОЕ, и сами предметы его свободного воображения – вдруг оказываются равнозначными. А господина-то писателя беспокоит вопрос приоритета! Ему кажется, что он некий демиург, или, по крайней мере, что он смеет дерзать на такое положение, – и это страшно пугает господина писателя. Ведь на самом-то деле, как мы видим, он человек смиренный и робкий. Если не сказать – боязливый. Страх мешает ему быть СВОБОДНЫМ и в полной мере воспользоваться дарованным ему небесами талантом. И он никак не может установить достойных отношений с героями своих произведений – он им не вполне доверяет и даже чего-то втайне опасается с их стороны. Может быть, он совсем не способен понимать природу высшей свободы, поэтому и сам никогда не станет СВОБОДЕН?

– Не будем, дорогой мой, так мрачно смотреть на нашего автора. Ведь что ни говори, но через его мозг и сердце прошли и выстроились все эти слова, что обрисовывают и нас с вами. Но если он когда-нибудь поймет, что своим возникновением в словах мы не всецело обязаны ему – далеко не ему одному, скажем, – то жить и работать на свете господину писателю будет гораздо легче.

– Неужели вы полагаете, что я такой круглый дурак и ревнивый автор и что опасюсь того, насколько мои персонажи будут зависимы или свободны от моей воли? И что при этом не будет учтена моя собственная творческая воля? Да если хотите знать, я смертельно устал от этой пресловутой свободы воли. Куда только не заносила она мою скромную душу, каких только тягот и лишений не испытал я во имя её. И мне надоело мучиться! Хочу радоваться творческой жизни, как радуется своему простенькому существованию каждая пичужка, не знающая никаких истин. И вы, мучительные для меня персонажи моих книг, – разве вы не были СВОБОДНЫ быть такими, какие вы есть? Разве хоть одного из вас я кастрировал во имя лживой идеи или воссоздал в словах не живой душой, а куклой с набитым ватой животом? Принц Догешти! Вот вы появились у меня совсем недавно. И что же – вам неуютно общаться со мной? Вы испытываете какое-нибудь давление с моей стороны? Вам, наконец, интересно было пойти со мною в это путешествие или не интересно?

Неизвестно, что ответил бы Догешти, но тут к группе беседующих подковыляла странная фигура, как будто безногая, – уж очень усеченная в высоту, – накрытая с головою белым капюшоном, из-под которого и раздался удивительно красиво звучащий свежий женский голос:

– Бачка Василий Васильич, ты обещал привести моего ребеночка. Чего же всё не приводишь?

– Что ты путаешь, Марьяша? Я ведь не ребенка твоего обещал привести, а, наоборот, тебя к нему отправить.

– Так чего же не отправляешь? – прозвучал упрек самым мелодическим голосом. – Я ведь всё жду, бачка Василь Васильич...

– Еще немного подожди... Не совсем еще у нас получается, Марьяша, ты видишь, что дело пока срывается. Мы всё время откатываемся назад. Я бы мог тебя одну отправить, но ведь ты не захочешь остаться одна без нас, без нашей деревни?

– Ни в коем случае! – прозвучал ответ.

– Ну так и жди спокойно, девочка. Твой маленький сын тоже ждет, но, не в пример мамочке, гораздо терпеливее тебя, Марьяша.

– Ладно, бачка Василь Васильич, не ругай меня. Я просто боюсь, что не успею переселиться со всеми вместе и умру раньше времени. Вон, ноги уже

отвалились по колена, на морду уже и взглянуть невозможно, хороша я буду, когда встречусь наконец-то с сыночком.

– Не бойся, не умрешь. Ты никогда не умрешь, сказано ведь было тебе. А ноги исчезают, руки или глаза – так это же и есть начало дематериализации, Марьяша! После переселения не нужны будут тебе ни ноги, ни руки, ни глаза, неужели непонятно! – почти с досадой молвил Василий Васильевич и, отвернувшись от Марьяны, вернул свое внимание спутникам. Белобалахонная фигура, накрытая капюшоном, заковыляла по коридору прочь.

– Вы нас извините, господа, но у бедной девочки до болезни в миру родился ребенок, и когда ее отправляли к нам в лечебницу, ребенка забрали в детский дом. Там он умер, но Марьяша об этом не знает еще. И никто не знает из наших, знаю только я да теперь вы, господа. Но надеюсь, вам не придет в голову доложить ей об этом.

– Что же это выходит? Ложь во спасение? – усомнился писатель.

– Вот именно, – охотно согласился белоголовый старик. – Дело в том, что после выхода из материи все наши прошлые болезни и страдания забываются. Вернее, они не исчезают из памяти, но тоже совсем преобразуются в ней, и все самые страшные мучения и несчастья предстают перед нами совершенно в ином свете.

– В каком таком ином свете?! – воскликнул писатель. – Разве боль и страдания человеческие не абсолютны? Разве это может быть воспринято по-другому?

– Теперь слушайте меня внимательно. Боль, и страдания, и смерть просто необходимы человеку при жизни, чтобы взять разбег ко взлету. Чтобы достичь наконец Преображения. Боль, страдание и смерть, проходимые человеком, являются одновременно и освобождением от них. Мы преобразуемся чистыми от всего этого. Каждый становится СВОБОДЕН от всего этого.

– А смерть? Что вы с нею-то прикажете делать? От нее-то ведь никто не становится свободным? Ведь сами же сказали – умер ребенок у Марьяши. Так умер или не умер?

– Умер, умер, не волнуйтесь, – был спокойный ответ. – Смерть тоже воспринимается там совсем не так, как здесь. Поверьте мне, что она не будет больше иметь никакого значения... Ну какое такое страшное значение сейчас имеет тот факт, что вы когда-то родились? А почему тогда должны бояться такой мелкой пакости, что когда-то вас настигнет воровка смерть? Миленький, хороший мой, да забудьте вы о ней! Когда вы её благополучно минуете, то после станете вспоминать её ничуть не менее спокойно, рассеянно даже, чем потерю когда-то кошелька всего с пятью рублями денег... Но вы плачете? – удивленно произнес старик. – О чём же вы плачете?

– Неужели нельзя без этого? Зачем нужен такой страшный разбег... Мучения зачем... Марьяшины отвалившиеся ноги зачем... Вы ведь обманули свою больную, пообещав ей, что она никогда не умрет.

– Может быть, и не обманул. Открытие моего деда было в том, что при самых великих безнадежных страданиях преобразование в невидимость, в нематериальность может произойти и без стадии смерти.

– Но как можно определить... что определяет, какое страдание считать великим и какое не считать таковым? – усомнился на этот раз и принц Догешти. – Ведь для каждого человека, господа, только его собственные страдания и есть самые великие, не правда ли?

– Совершенная правда, определить истинную меру душевных и телесных страданий человека невозможно. Так вот, открытие моего деда основны-

валось на том, что у прокаженных их телесные страдания не прибавлялись к душевным, а умножались на них. Когда самые запущенные лепроидные больные собираются в убежище – откуда им уже никогда не вернуться в мир остальных людей, – то становится очевидным, что адская чудовищность душевных и телесных страданий для этих изгоев настолько превосходит всё известное в мире, что отпадает всякое сомнение в том, кто может быть отнесен к наивысшим страдальцам на земле. Когда мой дед сам заболел и создал на свои деньги лепрозорий, он постепенно пришел к тому, о чём знает каждый прокаженный: у него отнято всё, и даже Бог отнят, но есть для него что-то Большее, чем Бог человеческий, и обстоятельство сие делает его свободным даже от этого Бога. И с этим Большим у него устанавливается прямая связь – открывается совершенно неизвестное для других людей новое жизненное устремление. И тогда мой дедушка задумался над тем, как соединить в один поток разрозненные устремления всех больных убежища, а также руководителей и врачей, медсестер и санитаров, привратников и электриков – всего персонала лепрозория вместе с администрацией, потому что среди них вдруг обнаруживаются феномены, которые обретают, благодаря многолетней близости с пациентами, такое же, как у них, знание о Том Большем, чем Бог человеческий, – о надвселенском начале или внутривселенском начале, что одно и то же.

– Ваш дедушка, кажется, совершенно точно определил среди неисчислимых жертв людского страдания наиболее безысходного и несчастного страдальца! – воскликнул Догешти. – Какая страшная мера мучений обрушивается на прокаженного! О, ваш дедушка был прав, я совершенно согласен с ним.

– Эта болезнь, необъяснимая, таинственная во все века, поражала людей из любого рода и племени, любого сословия – начиная от нищих и кончая царями, и всех уравнивала в своем особенном сообществе, отторгнутом от всех прочих человеческих систем. И моему деду, хотя он и не был ученым, философом или систематиком, пришло в голову, что это не случайно и что прокаженные – не просто клинические больные, пожираемые одним из самых страшных недугов, известных на земле, а это особенное человеческое племя, избранное, специально приуроченное для непосредственного перехода в невидимость, минуя смертную стадию.

– А что дало вашему дедушке сделать именно такой вывод? – унылым голосом спросил писатель, не без тайного страха поглядывая на сновавшие мимо по коридору белые фигуры больных непонятно какого возраста, пола, потому что лица у всех были словно накрыты одного вида масками, сумрачными и суровыми, словно у старых озабоченных львов.

Вместо ответа Василий Васильевич пригласил, указывая рукой в дальний конец просторного зала:

– Идёмте, я вам что-то покажу, и всё станет ясно без особенных объяснений.

Но по пути случился еще один скачок в невидимое, и все трое оказались посреди пустой альпийской лужайки, поросшей зеленой травой, на едва заметной тропинке – не вытопанной до голой земли, но поросшей более мелкой стелющейся травкой, отчего дорожка казалась специально выстриженной.

– Ничего, вы следуйте рядом со мною, я знаю, куда надо подойти, чтобы ненароком не толкнуло какой-нибудь стенкой, когда всё опять вернется на место. Наши опыты по-прежнему продолжаются... – И, сказав это, Василий Васильевич взял обоих за руки, потянул за собой.



Подведя к неглубокой ямке, на краю которой росла молоденькая стройная сосенка, старик остановился и стал ждать, не выпуская, однако, из рук ладоней своих спутников. Пользуясь наступившей паузой ожидания, Василий Васильевич приступил к некоторым разъяснениям.

– По той системе, которую начал разрабатывать дедушка мой, преобразование, или дематериализация, назовите это как хотите, может быть вызвано по особой воле самого человека. Из того, что не материально, – изнутри сознания, – исходят импульсы, которые подвигают материальное тело к своему изначалу, то есть к пустоте, безвременности и нематериальности. Я использую, развивая дедушкин метод, не только возможности одной души, направленные на собственное преобразование, но и коллективные, скоординированные усилия больных. И так как уже говорилось, что у них к страданиям телесным страдания душевные не прибавляются, как у остальных, но первое умножается на второе, то возможности коллективной медитации прокаженных оказываются поистине грандиозными. Буквально можно горы сдвинуть с места. А если учесть, что среди них есть личности совершенно фантастические по степени чистоты и могущества духа, достигнутых через страдание, ну такие, например, как только что представшая перед вами Марьяна, то мы, соединив наши усилия, сможем управляться не только с пространством и материей, но и со временем. То есть мы сами сможем обеспечить себя безсмертием, не беспокоя нашего Господа, и оживлять время как прошедшее, так и будущее. Поэтому я уверенно могу обещать Марьяне, что отведу её к маленькому сыночку, который умер в детдоме, – она сама сможет воскресить его и в новой жизни одарит таким же безсмертием, каким будет владеть сама. А Бог за это на неё не рассердится, я думаю...

В это время в системе Жереховых опять что-то не так сработало, или экспериментально повторялась какая-нибудь пробная схема коллективной медитации – в земное пространство вернулось больничное строение, накрыло своими стенами и крышами альпийский лужок с мелкотравчатой тропинкой, на которой стояли рядом трое мужчин, держась за руки словно малые дети.

Теперь перед ними оказалась дверь со стеклянной фрамугой, и сквозь матовое узорчатое стекло ничего не было видно, лишь сияли размазанные по нему золотистые блики от горевшей внутри электрической лампы.

– Сейчас мы войдем в особую палату, в которой нет окон, попросту это бункер, куда не должно попадать ни лучика солнечного света. Человек, находящийся там, приблизился к тому уровню, когда еще чуть-чуть – и озвучатся неуловимые, неопознаваемые нюансы его глубинного душевного порыва, и он исчезнет. Так было с моим дедушкой.

– Солнце может повредить ему? – спросил принц Догешти у Василия Васильевича, прежде чем войти вслед за ним из коридора в палату. – Я думал, что оно для жизни всегда есть благо.

– На солнце он сразу умрет, – был ответ. – То есть исчезнет из данного конкретного времени, устанавливаемого для нас, землян, именно солнечными часами. Солнце ведь материализует, а смерть есть вещь сугубо материальная. Она помешает больному, уже абсолютно зрелому для Преображения, достичь невидимости, минуя физическое умирание и связанную с ним агонию. И ждать после этого придется бедняге аж до Судного дня, когда всех умерших соберут, выровняют и одновременно воскресят.

– Но сказано ведь, что не всех воскресят, – снова стал впадать в уныние А. Ким. – Кое-кому такого счастья вовек не видать...

– Проходите быстрее, – не отвечая на его реплику, сдержанно поторопил гостей Жерехов-младший. – Зайдите, стойте смиренно и смотрите на всё не разговаривая, ни о чём не спрашивая, хорошо?

Гости шагнули за порог и увидели высокий деревянный топчан, накрытый белой тканью, на котором громоздилось что-то, напоминающее лежащее человеческое тело, укрытое зеленой больничной простыней. Возле этого горой вздымавшегося тела с той стороны, где угадывалась его голова, сидела на больничном табурете и, наклонившись, приблизив свою голову к лицу лежащего существа, замерла какая-то полная старая женщина. Она была не в больничной форме, а в обычном цивильном, старушечьем – вязаная зеленая кофта, длинная темная юбка, на ногах вязаные шерстяные носки, домашние тапочки... Не шелохнувшись, отнюдь не обращая внимания на вошедших, старая женщина продолжала истово вглядываться в бледную невнятную маску, напоминающую не лицо человека, а действительно маску, но такую, которую скульптор только что начал лепить: нашлепал на подставку белую глину и сдвинул её обеими руками, грубо сформировав лицевую сторону; затем пальцами продавил две дырки для глаз и одну поперечную борозду для рта. Про выступ носа скульптор или забыл, или попросту еще не успел приступить к носу: на этом месте была словно пальцем продавленная широкая дыра.

– Что ты слышишь, Ревекка? – задал уверенным начальственным голосом вопрос Василий Васильевич. – Как Андрей?..

Старуха лишь быстро вскинула руку в сторону от плеча, призывая к молчанию, и, по-прежнему не оборачиваясь, почти прильнула лицом к жутковатой бессмысленной бледно-серой маске. И когда посетители долгую минуту простояли в молчании, все трое толпясь за её спиной, они наконец услышали тихое сопение и шипение, исходившие от живой маски. Тотчас раздался голос женщины, переводивший это шипение в громкую, размеренную, выразительную декламацию:

*...и снова был означен дальний путь,  
и светлая тропинка по траве вилась.  
А сосны буйные мне не дают уснуть  
и шепчут на ветру  
про жизни сладкой власть.  
Вздымая непричесанные вихры  
к небесам,  
хмельно покачиваясь,  
эти увальни  
бросают взоры в мою сторону.  
А сам  
я возлежу во гробе деревянном –  
и тьмой угольной,  
аспидной  
наполнены глаза мои  
несчастные, земные.  
И сосны,  
великаны волосатые,  
зелено-буйнокудрые,  
в душе своей древесной  
прониклись Господа заветом –  
и прошептали мне в мой час последний,*



загробно-тесный:  
 «Живи без смерти».  
 Я ухожу туда, где небо золотое  
 и облака сиреневые  
 в нем плывут.  
 Где очень на меня похожие –  
 в просторе  
 Онлирии чудесной  
 летают некрылатые пилоты там и тут.  
 ...Эй, сосны!  
 И вы прощайте, братцы.  
 Мое земное время тает.  
 Увидимся ли там –  
 кто зна...

Старая женщина оборвала на полуслове свою размеренную декламацию и, выпрямившись на стуле, через плечо оглянулась на вошедших в комнату, причем взгляд её серых выцветших глаз ни на ком из троих не сосредоточился, а словно сразу же прошел сквозь них в иное пространство. Лицо её было природное, прекрасное, не накрытое львиной маской, снаружи не обезображено величавой красотой старости – красотой руин и полувисохших древних деревьев, но это лицо сохранило на себе свет прелестной женственности. И в сочетании с безобразно расплывшимся дряхлым, бесформенным телом молоджавое женское обличье вызывало чувство смятения, потому что по одному только этому всего яснее можно было прочесть, что вся жизнь человеческая есть не что иное, как плен юности у неотвратно надвигающейся телесной старости.

В продолжение молчаливой долгой минуты, пока вошедшие рассматривали молоджавую на лицо старуху и словно чего-то ждали от нее, на топчане за её спиной что-то происходило неясное – горой вздымавшееся зеленое покрывало, накинутое на лежавшее человеческое тело, вдруг разом бесшумно опало и плоско разостлалось на пустом лежаке. Там никого уже не было, и старуха, быстро повернувшись назад, схватила зеленую простыню и сдернула её с топчана. Белая чистая подстилка, чуть смятая, предстала глазам присутствующих, и ничего другого на этом месте не было, словно никогда в мире под солнцем и луною не появлялось существо по имени Андрей с его единственной и неповторимой судьбой. Хотя бы ветерок прошелся на месте его проживания и исчезновения, шевельнул бы простынку, подумалось А. Киму. И скупно улыбающийся Василий Васильевич – чуть-чуть загнутыми уголками беззубого рта, – и выглядевшая просветленной старуха Ревекка, и даже благостно потупившийся перед нею принц Догешти – все трое, находившиеся перед ним, дружно испытывали какое-то одно общее умиленное чувство; писатель, однако, не мог заразиться им и пребывал в замутненной печали сердца. Это заметил Василий Васильевич и удивленно поднял свои седые пушистые брови.

– Вы что это заскучали, дорогой мой? – спросил он. – Ведь всё хорошо получилось... Вам хотелось узнать, что стоит над человеческим страданием, то есть в чём причина и высший смысл человеческого страдания и боли. Вот теперь и узнали, своими глазами увидели, во что оно всё оборачивается, куда уходит.

– В пустоту, Василий Васильевич. В безмолвие и пустоту.



**А. Ким. На берегу моря**

– Ну да. Пусть будет по-вашему... Такое слово, значит, нашли... Ну и что же вас печалит?

– Так ведь и всё на свете, не только страдание, уходит в пустоту. Какое же открытие, какая тут поразительная новость?

– Ну хотя бы самая первая: боль и страдание не служат смерти, как вы думали раньше.

– А чему же служат?

– Безсмертию.

– Вот как. А доказательства?

– Андрей ушел не в смерть. Он не умер, но преобразился.

– А он подумал, что Андрюша умер, что ли? – весело воскликнула старая грузная женщина с молодым красивым лицом. – Тогда как же я? Могло ли быть такое, чтобы он умер, а я осталась бы жива?

– Не понимаю...

– Она говорит, – стал пояснять писателю Василий Васильевич, – что у них на двоих одна жизнь, и она неделима. В каком бы из миров они ни оказались, они всегда будут вместе. Этот феномен уже давно установлен и проверен всей их совместной жизнью. Андрей во время Гражданской войны в Сибири был белым офицером у Колчака, попал раненым в плен к красным казакам, и его расстреляли. Но неизвестным образом он из могилы попал в сад к Ревекке, тогда барышне на выданье, а этот сад находился далеко от места расстрела.

